

Булат Окуджава

Будь здоров, школяр (фрагмент)

Повесть

Посвящаю моим сыновьям Игорю и Антону
Это не приключения.
Это о том, как я воевал.
Как меня убить хотели, но мне повезло.
Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить.
А может быть, и некого.
Так что вы не беспокойтесь. Я жив и здоров.
Кому-нибудь от этого известия станет радостно,
а кому-нибудь, конечно, горько.
Но я жив. Ничего не поделаешь.
Всем ведь не угодить.

СЕНО-СОЛОМА

И детстве я плакал много. В отрочестве - меньше. И юности - дважды. Первый раз это было перед самой войной, вечером. Я сказал девочке, которую любил, сказал с деланным равнодушием:

- Ну что ж, раз так, значит, конец...

- Ну что ж, значит, конец, - неожиданно спокойно согласилась она. И быстро пошла прочь. И тогда я заплакал - ведь она уходила. И утирал слезы ладонью.

Второй раз я плачу сейчас здесь, в моздокской степи. Я несу командиру полка очень ответственный пакет. Черт его знает, где он, этот командир полка! Песчаные холмы похожи один на другой. Ночь. А я второй день на передовой. А за невыполнение задания - расстрел. А мне восемнадцать лет.

Кто это скачал о расстреле? Это Коля Гринченко сказал, когда я отправлялся. У него была красивая улыбка, когда он говорил об этом.

- Держись, а не то кокнут, и все...

Приставят меня к стенке. Впрочем, какие здесь стены.

И я утираю слезы. "Ваш сын оказался трусом и..." Так будет начинаться извещение... Ну почему это именно меня послали с пакетом? Вот Коля Гринченко - такой сильный, ловкий парень. Он

бы уже давно добрался. Сидел бы сейчас в теплой землянке штаба полка. Пил бы чай из кружки. Подмигивал бы связисткам и улыбался красивым ртом.

А вдруг сейчас ухнет мина? Отыщут меня утром. Командир полка скажет командиру батареи:

- Что же это вы, лейтенант Бураков, неопытного солдата послали? Не дали осмотреться человеку, привыкнуть. Вот из-за вашего равнодушия погиб хороший человек.

"Ваш сын пал смертью храбрых при выполнении ответственного оперативного задания..." Так будет начинаться извещение...

- Эй, куда идешь?

Это мне кричат. Я вижу там окопчик, и из него мне рукой машут. Мало ли куда я иду?

- Стой! - кричат за спиной.

Останавливаюсь. Подхожу. Кто-то с силой втягивает меня в окопчик за рукав.

- Куда шел? - зло спрашивают.

Я объясняю.

- А ты знаешь, что там немцы? Еще бы сто метров...

Мне объясняют. Это наш передовой дозор, оказывается. Потом меня долго ведут в землянку. Командир полка читает донесение и посматривает на меня. И я чувствую себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно быть, очень смешно. Но никто не смеется. И красивая связистка смотрит мимо меня. Конечно, если бы я был в сапогах, в лихой офицерской шинели... Хоть бы дали чаю. Я бы посидел за этим столом из ящика. Я бы сказал этой красавице о чем-нибудь таком... Конечно, у меня такой вид...

- Идите на батарею, - зло говорит командир полка, - и скажите вашему командиру, чтобы он таких донесений больше не посылал.

Он делает ударение на слове "таких".

- Хорошо, - говорю я. И слышу тихий смех красивой связистки. Она смотрит на меня и смеется.

- Вы давно в армии? - спрашивает полковник.

- Месяц.

- В армии нужно отвечать не "хорошо", а "есть"... и потом, это... носки вместе, пятки врозь...

- Сено-солома, - говорит кто-то из темнот угла.

- Я знаю, - говорю я. И выхожу. Почти бегу.

Опять степь. Идет снег. И тишина. Как-то даже не верится, что это фронт, передовая, что рядом опасность. Теперь-то уж я не собьюсь с пути.

Представляю, как смешно я выглядел: расставленные ноги, и руки в карманах шинели, и пилотка, натянутая на уши. А эта красавица... И даже чаю не предложили... Коля Гринченко, когда говорит с офицерами, всегда чуть улыбается. И очень изящно козыряет и говорит при этом: "Так точно". А мне слышится: "Приказывай, приказывай. Я-то тебя насквозь вижу". Он-то видит. А ботинки у меня здоровенные. Это даже хорошо. Увесистая мужская нога. И снег хрустит. Мне бы только шапку-ушанку, и я не выглядел бы таким жалким. Вот сейчас приду, доложу. Напьюсь горячего чаю. Посплю. Теперь я имею право.

За спиной у меня автомат, на боку - две гранаты, с другого бока противогаз. Очень воинственный вид. Очень. Кто-то сказал, что воинственность - признак трусости. А я трус? Когда в восьмом классе мы поссорились с Володькой Аниловым, я первый крикнул ему:

- Давай стыкнемся! - и мне стало страшно. Но мы пошли за школу. И товарищи окружили нас. Он первый ударил меня по руке.

- Ах так?! - крикнул я и толкнул его в плечо. Потом мы долго ругали друг друга, не решаясь напасть. И вдруг мне стало смешно, и я сказал ему:

- Послушай, ну я дам тебе в рыло...

- Дай, дай! - крикнул он и выставил кулаки.

- Или ты мне дашь. Кровь пойдет. Ну какая разница?

Он вдруг успокоился. Мы пожали друг другу руки по всем правилам. Но потом дружбы уже не было.

Трус я?

Вчера на рассвете мы остановились среди этих вот холмов.

- Все, - сказал лейтенант Бураков, - прибыли.

- Что это? - спросили его.

- Это передовая.

Он впервые был на фронте, как и мы все, и поэтому говорил торжественно и с гордостью.

- А где немцы? - спросил кто-то.

- Немцы там.

"Там" виднелись холмики, поросшие кустарником, реденьким и чахлым.

И я подумал, что мне совсем не страшно. И удивился, как это лейтенант так просто определил позиции врага.

НИНА

- А ты красивый, - говорит Сашка Золотарев.

Я бреюсь перед осколочком зеркала. Брить нечего. В землянке холоднее, чем на дворе. Руки красные. Нос красный. Кровь красная. Пока брился, весь изрезался. Разве я красивый? Уши врозь. Нос картошкой.

Для чего я бреюсь? Вот уже три дня на передовой, и ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого. Для чего же я бреюсь? Вчера под вечер у входа в нашу землянку остановилась та самая красивая связистка.

- Привет, - сказала она.

А я посмотрел на нее и понял, что я небрит. Я увидел себя в ее глазах. Я словно отразился в них. Большие такие глаза. Цвет я не запомнил. Я кивнул ей.

- Как жизнь? - спросила она.

- Идет, - сказал я мрачно.

- А что это ты такой хмурый? Не кормили, что ли?

Я достал папиросы.

- Ого, - сказала она, - папиросы.

- Тебе что, делать нечего? - спросил я.

- Давай покурим, - сказала она. И сама взяла из пачки папиросу.

Мы курили и молчали. Потом она сказала:

- А ты совсем еще малявка, да?

- Что ото значит?

- Это рыбка, которая только из икры.

Я полез в землянку, а она смеялась вслед.

- Приходила Нинка? - спросил потом Коля Гринченко.

- Да. А ты ее знаешь?

- Я всех знаю, - сказал он.

Вот я побрился. У меня еще есть папиросы. Я чувствую, что она придет. И я расстегнул воротник гимнастерки. Пусть у меня будет лихой вид. И я расстегнул шинель и засунул руки в карманы.

И встал за ящик с минами так, чтобы не видно было обмоток.

Кто я? Я боец, минометчик. У нас полковые минометы. Я рискнул жизнью. Может быть, чудо, что меня еще не ранили. Приходи, связистка, штабная крыса. Приходи, я угощу тебя папиросами. Приходи, может быть, завтра лежать мне, раскинув руки...

- А ты красивый, - говорит Сашка Золотарев. А я сплевываю и отворачиваюсь. Может, он смеется. Но губы мои, губы мои расползаются.

Сашка соскабливает глину с ботинок палочкой, потом покрывает ботинки толстым слоем тавота.

Придет Нина или не придет? Я скажу ей: "Привет, малявка..." Мы покурим с ней. Потом будет вечер. Если это война, то почему не стреляют? Ни одного выстрела, ни одного немца, ни одного раненого.

- А почему никого из начальства нет? - спрашиваю я.

- Совещаются, - говорит Сашка.

Хорошо, что я все-таки высокий и не такой толстый, как Золотарев. Если бы мне шинель по росту!

Приходит Коля Гринченко. Очаровательно улыбается и говорит:

- Старшина - гад. Себе жарит яичницу, а мне концентрат дает. - И смотрит на нас с Сашкой.

- Не шуми, - говорит Сашка.

- Это ему не тыл, - не унимается Коля, - здесь ведь разговор короткий. В затылок - и привет. И не узнают.

- Пойди скажи ему об этом, - говорит Сашка. А старшина стоит за Калиной спиной, и на подбородке у него сияет жирное пятнышко.

- Понятно, - говорит он.

Все молчат. Он поворачивается и уходит в свою землянку. Все молчит. У Сашки блестят ботинки, как подбородок старшины. У меня вспотели ладони. Коля Гринченко красиво улыбается. А из землянки старшины и в самом деле тянет глазуньей.

- Глазунья хороша с луком, - говорит Сашка.

Приходит Шонгин. Это старый солдат. Он знаменитый солдат. Он служил во всех армиях во время всех войн. Он в каждую войну доходил до передовой, а потом у него начинался понос. Он ни разу не выстрелил, ни разу не ходил в атаку, ни разу не был ранен. У него жена, которая провожала его на все войны.

Приходит Шонгин и ест редис. И молчит.

- Откуда редиска?!

Шонгин пожимает плечами.

- Дай редисочки, Шонгин, - просит Сашка.

- Последняя, - говорит Шонгин.

Хорошо, когда нет начальства. Никто не командует, никуда не гонят. Как я шел с пакетом! Ведь это же черт знает что... Как будто Колю Гринченко не могли послать. В семнадцать лет мой отец создавал в подполье комсомол, а я стою, сутулый и смешной, и я ничего не создал, а только хвастаюсь своим благородством, которого, может быть, и нету...

А Шонгин достает редисочки одну за другой. Красные шарики летят в рот, хрустят.

- Шонгин, дай редисочки, - прошу я.

- Последняя, - говорит Шонгин.

Я загадываю: если Шонгин достанет еще редиску, Нина придет. Шонгин лезет в карман. Достает кисет. Не придет. И вдруг Коля говорит:

- Вот и Ниночка...

Я оборачиваюсь. С невысокого холмика спускается она. Рядом с ней незнакомая связистка. Нина идет легко. Шинель застегнута на все крючки. Шапка-ушанка... ах! Какая у нее ушанка!... Она немного набекрень. Привет, малявка! Все смотрят в ее сторону, все. Она идет.

- А-а-а! - Это Шонгин кричит. - А-а-а! - И падает. И Сашка падает. И Коля Гринченко.

- Ложись!

Я кидаюсь лицом вниз. Вот оно!.. Где-то далеко-далеко разрыв. Короткий. И шуршание. И тишина.

Кто-то смеется. У входа в землянку стоит старшина:

- Хватит валяться, ежики.

Мы молча поднимаемся. Коли нет. Он бежит к холму, туда, где легко шла Нина. Я вижу издали, как она медленно

поднимается с грязного снега. А та, другая, лежит неподвижно. Лицом вверх.

Мы медленно, не сговариваясь, идем туда. И другие солдаты идут. Это первая наша мина. Первая. Наша.

ВОЙНА

Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей - шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира - беги, исполняй, оглушительно рывкай "Есть!", падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины - зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом - выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья - рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо, три раза...

Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холодно. Как будто мне никого не жалко. Только спать, спать, спать...

Потерял я ложку, как дурак. Обыкновенная такая ложка. Алюминиевая. Почерневшая. С зазубринами. И все-таки это ложка. Очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка. А если каша... Я даже дощечку приспособил. Щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждый ложку бережет. Дураков нет. А у меня - дощечка.

А Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это память о погибших.

А Коля Гринченко кривит губы в усмешке:

- Не жалей, Сашка. На наш век баб хватит.

Золотарев молчит. Я молчу. Немцы молчат. Сегодня.

Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу. Я уверен. Огонь открывать не приказано. Идут какие-то переговоры. Вот и ходит наш командир от расчета к расчету. А минометы стоят в траншеях, в ложбинке. А траншеи вырыты по всем правилам устава. А уставы мы не учим.

Ко мне подходит наводчик Гаврилов. Подсаживается. Смотрит на мою самокрутку:

- Ты что это раскурился?

- А что?

- Искры по ветру летят. Темно уже. Заметят, - говорит он и оглядывается.

Я гашу самокрутку о подметку. Ярким фейерверком сыплются искры. И тут же на немецкой стороне отзывается шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются мины. И Гаврилов ползет по снежку.

- Говорил... твою мать! - кричит он.

Разрыв за разрывом. Разрыв за разрывом. Ближе, ближе... А мимо меня бегут мои товарищи. А я сижу на снегу... Я виноват... Как я буду смотреть в глаза ребятам! Вот бежит лейтенант Бураков. Он что-то кричит. А мины падают, мины падают.

И тогда я встаю и тоже бегу и кричу:

- Товарищ лейтенант!.. Товарищ лейтенант!

Охает первый миномет. Сразу становится уютнее.словно у нас объявились сильные спокойные друзья. И смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют куда-то вверх из ложбинки. И только телефонист, худенький юный Гургенидзе, восторженно вскрикивает:

- Попадалься!.. Эвоэ!.. Попадалься!

Я делаю то, что мне положено. Я подтаскиваю ящики с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный. И ничего не боюсь. Таскаю себе ящики. Грохот, крики, едкий запах выстрелов. Все смешалось. Ну и сражение! Побоище! Дым коромыслом... Впрочем, я все выдумываю... По нас ни разу не выстрелили. Это мы сами шутим. Но я виноват. И все знают об этом. И все ждут, когда я сам приду и скажу, как я виноват.

А уже становится темнее. Болит моя спина. Я еле успеваю хватать снег и глотать его.

- Отбой! - кричит Гургенидзе.

Я все расскажу командиру батареи. Пусть не думает, что я таюсь.

- Товарищ лейтенант...

Он сидит на краю окопчика и водит пальцем по карте. Он смотрит на меня, и я понимаю: ждет, когда я признаюсь.

- Я виноват. Я совсем не подумал об этом... Делайте со мной что хотите...

- А что я должен с тобой делать? - задумчиво спрашивает он.

- Ты что, натворил что-нибудь?

Смеется? Или забыл? Я рассказываю ему все. Начистоту. Он смотрит с удивлением. Потом машет рукой:

- Послушай, иди отдыхай. При чем тут твоя самокрутка? Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди.

Я иду.

- Смотри не засни. Замерзнешь, - говорит вслед лейтенант.

Через час мы снова на ногах. Мы снова палим в немцев. Наступление. Я не вижу его. Какое наступление, если мы сидим на месте? Неужели так будет всегда? Грохот, запах пороха, крик Гургенидзе "Попадалься! Не попадалься!.." и эта проклятая ложбинка, из которой ничего не видно. А где-то наступление. Идут танки, пехота, кавалерия, поют "Интернационал", падают, знамен не выпуская из рук.

И когда небольшое затишье, я бегу на наблюдательный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза: а какое оно, наступление? Я подышу им. А НП - это не что-нибудь, а просто верхушка холма, и там на склоне лежат, едва высунув головы, наблюдатели, а комбат Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь до пояса. И слышу, как запевают птицы. Птицы!

Кто-то стягивает меня за ногу вниз.

- Жить надоело? - шипит комбат. - Ты что здесь околачиваешься ?

- Посмотреть хотел, - говорю я.

Наблюдатели смеются.

- Птицы откуда-то, - говорю я.

- Птицы? - переспрашивает комбат.

- Птицы...

- Какие птицы? - спрашивает из окопчика телефонист Кузин.

- Птицы, - говорю я и уже сам ничего не понимаю.

- Разве это птицы?- устало смотрит на меня комбат.

- Птицы... - смеется Кузин.

Я уже начинаю понимать, что это такое. Один из наблюдателей напяливает на палку свою шапку и поднимает над собой. И тотчас запевают птицы.

- Понял? - спрашивает комбат.

Он хороший человек. Другой бы начал топтать ногами и материться. Он хороший человек, наш комбат. Сейчас бы меня убили, если бы не он. Это он, наверное, за ноги меня подтянул.

Становится темнее, темнее. Серые сумерки окутывают холмы. И я слышу, как далеко-далеко бьет пулемет.

- Пулемет! - кричу я.

Никто не обращает на меня внимания.

- Пошли наши, - говорит комбат Бураков, - сейчас начнем.

И потом говорит мне: - На-ка погляди.

Я припадаю к стереотрубе. Я вижу степь. На краю ее, на дальнем, на фоне серого неба вытянулся полоской населенный пункт. И там из конца в конец, как фейерверк, протянулись разноцветные линии трассирующих пуль. И я слышу тарахтение пулеметов, дробь автоматов. Но я не вижу наступления. Я не вижу людей.

- Пошли, пошли! - кричат за моей спиной.

- Где, где?

И вдруг я вижу: по степи кое-где перебегают, согнувшись в три погибели, одиночные фигурки. Редко-редко.

- Хватит, - говорит комбат, - иди на батарею.

Я скатываюсь с холма. Я бегу. А навстречу мне плывет, покачиваясь на холмах, "виллис". А в нем сидит генерал. Я не знаю, что мне делать: пробежать или пройти строевым, приложив ладонь к козырьку...

Генерал Багров. Он меня не видит. Он размахивает руками. А "виллис" приближается к наблюдательному пункту. И там уже вытянулся в ожидании комбат. И ребята стоят. И стереотруба стоит на своих трех ногах неподвижно.

И генерал выскакивает из машины, подбегает к комбату:

- По своим бьешь! По своим?!

Комбат молчит. Только голова мотается из стороны в сторону.

А потом генерал смотрит в стереотрубу, а комбат что-то объясняет ему. И генерал жмет ему руку.

"Чудеса!" - думаю я.

- Отбой! - кричит в телефон Кузин. На батарее тишина. Все словно прислушиваются. А минометы, как собаки, присели на задние лапы и тоже молчат.

- Что у тебя с ладонями? - спрашивает старшина. Ладони мои в крови. Я не понимаю, откуда может быть кровь. Я пожимаю плечами.

- Это от минных ящиков, - говорит Шонгин.

Сейчас мне будут делать перевязку.

Старшина поворачивается и уходит. Это он, наверно, пошел санинструктора звать. Я стою с вытянутыми руками. Сколько, наверно, крови вытекло! Сейчас меня перевяжут, и я напишу домой письмо...

- Иди вымой руки, - говорит, обернувшись, старшина, - сейчас позицию менять будем.

КОЛОКОЛЬЧИК - ДАР ВАЛДАЯ...

Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умирать. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову - и все? И мое горячее тело уже не будет горячим?.. Пусть будут страдания. Кто сказал, что я боюсь страдать? Это дома я много боялся. Дома. А теперь я все уже узнал, все попробовал. Разве не достаточно одному столько знать? Я ведь пригожусь для жизни. Помогите мне. Ведь это даже смешно - убивать человека, который ничего не успел совершить. Я даже десятого класса не кончил. Помогите мне. Я не о любви говорю. Черт с ней, с любовью. Я согласен не любить. В конце концов, я уже любил. С меня хватит, если на то пошло. У меня мама есть. Что будет с ней?.. А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по голове? Я еще не успел от этого отвыкнуть. Я еще нигде толком не побывал. Я, например, не был еще на Валдае. Мне ведь нужно посмотреть, что это за Валдай? Нужно? Кто-то ведь написал: "...И колокольчик - дар Валдая..." А я даже таких строчек написать не смогу. Помогите мне. Я все пройду. До самого конца. Я буду стрелять по фашистам, как снайпер, буду единоборствовать с танками, буду голодать, не спать, мучиться...

Кому я говорю все это? У кого прошу помощи? Может быть, вот у них, у этих бревен, которы-ми укреплен блиндаж? Они и сами не рады, что здесь торчат. Они ведь соснами шумели так недавно... А когда мы уезжали на фронт, помнишь нашу теплушку? Ах да, конечно же, помню. Мы стояли у раскрытых дверей и пели какую-то торжественную песню. И у нас были гордо подняты головы. А эшелон стоял на запасных путях. Где? На Курском вокзале. По домам нас не пустили. Я только успел позвонить домой. Наших никого не было. Только старуха соседка Ирина Макаровна. Злая, подлая старуха. Сколько она мне крови испортила! Она спросила меня, где стоит эшелон.

- Жалко, - лицемерно сказала она, - не сможет мама повидаться-то с тобой.

И я повесил трубку и вернулся к своим. А через час появилась у вагона Ирина Макаровна и сунула мне сверток. А потом, когда мы пели, она стояла в маленькой толпе случайных женщин. Кто она мне? Прощай, Ирина Макаровна. Прости меня, разве я знал? Я никогда не смогу понять это... Может быть, ты и есть то лицо, у которого следует просить защиты? Тогда защити меня. Я не хочу умереть. Говорю об этом прямо и не стыжусь...

В свертке были сухари и четвертинка подсолнечного масла. И я поклялся сохранить один сухарь как реликвию... Съел. Значит, не смог сделать такого пустяка? А чего же я прошу? А разве не сам я, когда прилетела "рама" и все полезли по щелям, стоял на виду?

- Лезь скорей! - кричали мне.

А я не прятался. Ходил один и посмеивался вслух. Если бы они знали, что у меня внутри делается! А я не могу побежать на виду у всех. Пусть никто не знает, что мне страшно. Но себе-то самому я могу сказать правду? Вот я и говорю. Я сам себе судья. Я имею на это право. Я не Петька Любимов. Помнишь Петьку Любимова? Ну, конечно, помню. Петр Лаврентьевич Любимов. Мой сосед по квартире. Когда началась война, он по вечерам выходил на кухню и говорил:

- Немцы, паскуды, прут... Надо всем вставать на защиту. Вот у меня рука подживет - пойду добровольцем.

- Тебя и так призовут, Петенька, - говорили ему.

- Так - не штука. Так всякий пойдет. А когда Родина в опасности, нужно не ждать. Самому идти. - И спрашивает меня: - А ты Родину-то любишь?

- Люблю, - говорил я. - Этому меня еще в первом классе научили.

А однажды я встретил его в военкомате. Это когда я повестки разносил. Он меня не видел. Разговаривал с капитаном каким-то.

- Товарищ капитан, - сказал он, - вот я освобождение принес.

- Какое освобождение?

- Броня. Как специалист броню получил. Не хотят меня на производстве отпускать...

- Ну зайдите вон туда и оформляйте. Броню так броню, - сказал капитан.

Броня так броня. Вот так Петька. Какой же он специалист незаменимый, когда он часовщиком на Арбате в мастерской работал. И пошел Петька оформляться. Прошел мимо меня. Прошел. Остановился. Покраснел.

- Видал? - спросил меня. - Вот так-то. Умирать кому охота?

Наверно, он и сейчас по брони живет. Как будто он известный конструктор или великий артист.

...Этот блиндаж не нами оборудован. Он хороший, этот блиндаж. Он поменьше, правда, чем штаб полка, где Нина сидит, но все-таки неплохой. Видно, отсюда наспех уходили. Вот фотографию женскую уронили. Некрасивая молодая женщина улыбается с нее. А кто-то ее любит. Что ж он захватить-то ее позабыл?

- А ты, Сашка, броню получал? - спрашиваю я.

- Кто ж мне ее даст? - говорит Сашка. - Ее не всем дают.

- Дал бы кому надо, - говорит Коля Гринченко, - была бы тебе броня.

- Наверное, много давать? - спрашивает Сашка.

- Тысячи три. Барахлишко бы продал ради такого дела. Набрал бы. - Барахлишка набрал бы. У меня один шифоньер три тысячи стоит.

- Ну вот и дал бы.

- А-а-а... - машет Сашка рукой. - Иди-ка ты...

- А ты что не дал? - сердится Шонгин.

- А у меня денег не было, - смеется Коля.

- Болтать ты горазд... - говорит Шонгин.

ЛАФА

Восьмой день бьют наши минометы. У нас уже трое ранено. Я их не видел. Когда вернулся на батарею, их уже унесли. Мы переезжаем с места на место, и у нас уже не то что землянок - путевых окопчиков нет. Некогда возиться. Это наступление. Когда оно началось, Коля Гринченко говорил:

- Лафа, ребята. Теперь будет лафа. Теперь мы будем отлично питаться. Теперь поживем на трофейном добре. Хватит концентраты лопать.

Тогда мы все ему поверили. И напрасно. Мы и артиллерия всюду приходим последними, когда ничего уже нет.

И опять концентрат. И дубовые сухари. И Коля Гринченко говорит старшине:

- Старшина, какого хрена этот концентрат! Где фронтальная норма?

- А ты помнишь, ежик, как ты мне грозился? - спрашивает старшина.

- А ты докажи, - улыбается Гринченко.

- Ну вот и помалкивай, - говорит старшина.

Теперь у него грозное оружие против Коли. И Коля боится его. Я это вижу. Но иногда он забывает, что боится, и тогда переходит в наступление. И это бывает очень смешно.

Я помню, как мы вошли в первый населенный пункт, тот самый, который я видел с НП. Это было разбитое степное село. В уцелевших хатах уже хозяйничали кавалеристы: переодевались, спали, играли на гармонике, а в одной даже блины пекли. И мы, конечно, всюду попадали с опозданием. Куда же нам деваться?

- Пошли, - говорит Гринченко.

И мы с Сашкой Золотаревым идем за ним. Вот входим в хату. В хате жарко. Топится печь. Пусто. Лишь над сковородкой склонился казак. Это по лампасам видно.

- Здорово, земляки, - говорит Гринченко с порога, - принимай гостей.

Коля очень здорово умеет с людьми разговаривать. Очень по-свойски. Он при этом улыбается. Он так улыбается, что нельзя не улыбнуться в ответ. И вот казак оборачивается, и я вижу скуластое лицо и раскосые глаза.

- Вот так казак! - говорит Коля. - Откуда ты такой взялся?

- Что надо? - спрашивает казак.

- Ты калмык, наверно, а не казак. Калмык, да? - И Коля говорит нам: Давай, ребята, располагайся. Эх ты, казак калмыцкий!

И Коля кладет на скамью свой вещмешок. А калмык берет вещмешок и швыряет к порогу. Он стоит перед высоким Гринченко такой маленький, скуластый и широкоплечий.

- Что, тебе калмык не нравился? Уходи назад.

- Ты что, гад... - Лицо у Коли покрывается красными пятнами.

- Иди, иди, - спокойно говорит калмык.

- Я кровь проливал, а ты меня на мороз гонишь?!

Сашка берет Колю за локоть:

- Не психуй, Мыкола.
- Уводи свой люди, - говорит калмык.
- Не сердись, пожалуйста, - говорю я.
- Уходи давай...

Вдруг открывается дверь и входят казаки. Их трое.

- Что за беда? - спрашивает один.

Калмык молчит. Мы с Сашкой молчим. Коля тоже молчит.

Потом он улыбается и спрашивает калмыка:

- Что ж молчишь, калмык? - И потом говорит казакам: - Вот гад... сам к печке, а русского - на мороз!

- Чего они приперлись? - спрашивает казак у калмыка.

- Давайте-ка, ребята, сыпьте отсюда, - говорит нам другой казак. А третий говорит калмыку:

- Давай, Джумак, обедать.

А мы молча уходим из хаты. На мороз. В сумерки. Если Гринченко что-нибудь сейчас скажет, он мне опротивеет. Мне кажется, что это я обидел человека. Коля молчит. "Кровь проливал"... Он ведь и царапины не получил!

Теперь мы уже за этим населенным пунктом. Бейте, минометы, бейте! Дуй, ветер! Сыпь, дождь пополам со снегом! Мокни, моя спина! Болите, мои руки!..

Что делать, чтобы не мерзли ноги? Ах, сапоги нужны. Широкие. На три номера больше. Чтобы всякою навертеть-навертеть... Чтобы нога как в гнезде была... А еще нужно ходить. А мы почти и не ходим. Все время приходится менять позиции. Значит, садись в машины и пошел-пошел! Дождь идет. Дождь идет прямо с неба. Снег идет. Откуда-то сбоку. Ветер - со всех сторон. Днем и ночью мы промокаем насквозь. К утру подмораживает. Шевелиться не хочется.

Я думаю о Нине. Мне кажется, что она на одной из машин. Погиб телефонист Кузин. Пуля вошла ему в рот. Она была уже на излете, слабая. Но что-то успела задеть, и он умер.

РАЗГОВОРЫ

Это, наверное, первая ночь, когда мы спим нормально. Мы лежим на полу покинутой хаты. Лежим на шинелях. Укрываться нельзя. Жара. Шонгин натопил печь. Нас набилось в хате с

избытком. Только летает медленно и однообразно красный светлячок шонгинской самокрутки.

- Дай закурить, Шонгин, - просит Сашка Золотарев.

Шонгин молчит. Летает красный светлячок.

- Дай закурить, Шонгин, - прошу я. Мы ведем игру неторопливо, привычно.

- Да он спит, - говорит Коля Гринченко.

Красный светлячок жалко и неподвижно повисает в воздухе. Я вглядываюсь в темень и словно вижу стиснутые губы Шонгина и открытые мигающие глаза.

- Курить хочется, - говорит Сашка, - разбудить его, что ли?

- Не буди, - говорит Коля, - пусть человек поспит. Сам возьми, сколько тебе надо.

- Табак у него и противогазной сумке лежит, - говорю я.

- Я вам возьму, - говорит Шонгин, - я сам насыплю.

- Ну вот, человека разбудили, - говорит Коля.

Слышно, как кряхтит Шонгин.

Мы лежим и старательно затягиваемся горьким дымом самокрутки.

Тишина. Потом кто-то говорит из темноты:

- Хорошо б сюда Нина пришла бы. Мы бы с ней беседу провели.

Сашка Золотарев смеется.

- А я толстых люблю, - говорит он, - и чтобы выше меня.

- У Нинки муж есть, - говорю я.

- У меня тоже жена есть. Может, Нинкин-то сейчас у моей олады ест.

- Война, - говорит Коля, - все перемешалось. А потом, если любовь, так ведь тут не прикажешь...

Сашка смеется.

- Паскуды вы, ребята! - говорит Шонгин и поворачивается на другой бок.

- А я на гражданке с такой и не пошел бы, - говорят из темноты.

А я пошел бы.

- У меня такая девочка была. Катя ее звали, вот была красавица. Коса до пояса. Нинка - это так...

- А тебе ее не навязывают, - раздраженно говорит Коля.

- Не нравится, - говорю я, - не бери. Верно, Коля?

- У твоей Кати нос, наверно, пупочкой был, - смеется Сашка, - ты ведь таких любишь. Чтоб нос пупочкой и чтоб от нее тестом пахло...

- Досмеешься, Золотарев, - угрожают из темноты.

Ты жива еще, моя старушка.

Жив и я. Привет тебе, привет.

Пусть струится над твоей избушкой...

Это Коля поет.

И вдруг открывается дверь. И голос комбата врывается в темень:

- Кто там пессимизм разводит?

И снова тишина.

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.